

УДК 82-4

П.П. Каминский

**РЕФЛЕКСИЯ СОВЕТСКОГО В ПУБЛИЦИСТИКЕ В. АСТАФЬЕВА
И С. ЗАЛЫГИНА 1990-Х ГГ.¹**

Анализируются понимание советского и характер его переживания в публицистике В. Астафьева и С. Залыгина 1990-х гг. Устанавливается, что в отличие от других традиционалистов, переживающих в этот период тяжелый мировоззренческий кризис, советское в публицистике В. Астафьева и С. Залыгина так и не становится идентификационной моделью в связи с растерянностью, дезориентацией постсоветского общества. Воплощая личностный тип самосознания, писатели сохраняют цельность, ощущение самотождественности и непрерывности внутреннего существования.

Ключевые слова: В.П. Астафьев, С.П. Залыгин, публицистика, советская эпоха, ностальгия.

Понимание советского в публицистике В. Астафьева и С. Залыгина, социализация и становление мировоззрения которых происходили в разные периоды истории СССР, определено, во-первых, объективной сложностью природы советской действительности, во-вторых, сложившимся к 1990-м гг. знанием о советском. Писатели проявляют амбивалентное отношение к советскому на интеллектуальном (интерпретации и оценки) и на эмоциональном (чувства, переживание своего советского опыта) уровнях. Двойственность восприятия советского, его интенциональная противоречивость (негативный и позитивный тренды) не допускают однополярности: ни идеализации советского прошлого, ни и его полного отрицания, обесценивания – в публицистике В. Астафьев и С. Залыгин формируют гетерогенный образ советского, отражающий его реальную неоднозначность, противоречивость.

В публицистике осуществляется рациональное осмысление, всесторонняя интерпретация ушедшей эпохи во всем множестве ее практик (идеология, политика, экономика, социальные отношения, нравственность и культура, повседневность и т.д.). Поэтому для реконструкции авторских систем интерпретаций и оценок советского в публицистике В. Астафьева и С. Залыгина могут быть выделены несколько аспектов: 1) советское как идеологическое; 2) советское как государственное; 3) советское как социальное; 4) советское в аспекте нравственности и культуры; 5) советское как «повседневное»; 6) советское как объективно историческое.

В восприятии В. Астафьева, советская утопическая идеология, воплощенная в глобальном историческом эксперименте, направлена на мифологизацию реальности, замещение ее фиктивными конструктами. Симуляция в советскую эпоху имеет тотальный характер, когда идеологические знаки экстраполируются на все сферы социальной жизни, идеология претендует на

¹ Работа выполнена в рамках межрегионального сетевого проекта МИОН «Ностальгия по советскому в социокультурном контексте современной России» (АНО «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)», грант К017-2-01/2007).

статус единственной и самодостаточной реальности – становится своего рода «гиперреальностью» (Д. Лион), в которую погружен человек.

Тоталитаризм вырабатывает в нем определенный тип мышления: идеология социальной диктатуры подразумевает обобществление личности в человеке, подчиняет обезличенного индивида различным формам коллективности. Формируемые при этом мироощущение, система ценностей и принципов существования советского человека однозначно трактуются В. Астафьевым как духовное рабство, «моральное уродство»: «Легко было управляться с нами, полуграмотными, полуслепыми, полуглухими, пораженными легкомыслием. Мы такие и нужны были партийной верхушке» [1. С. 49].

Трагедия человека (общества) в эпоху советского эксперимента, с точки зрения В. Астафьева, заключается в том, что тоталитарная идеология вступает со склонностями его психической структуры в отношения резонансного совпадения – склонность общества к тоталитаризму определяет биологический детерминизм. Человек генетически предрасположен к агрессии и саморазрушению, в нем дремлет звериная сущность, человеческое существо «...испытывает неодолимое желание вернуться к зверю и довольно уже преуспело на этом пути» [1. С. 47]. Совершив революцию, коммунисты использовали звериные инстинкты в своих целях, создавая условия, когда перестают работать нравственные ограничители, вырабатываемые в национальной культуре, высвободили в человеке деструктивные начала – коммунистическая «идеология одичания» генерируется волюнтаристски, со злым умыслом кучкой авантюристов.

Прагматика советской политической системы, таким образом, не мотивирована реальностью ни на одном из этапов советской истории, но определяется ее тоталитарным характером – машина тотального принуждения. В дальнейшем, в постсталинскую эпоху, эта ложная доктрина редуцируется, составляет прикрытие личных целей, маскируемых демагогией, «словоблудием».

С. Залыгин близок в оценках к В. Астафьеву. С его точки зрения, как авантюрный исторический эксперимент, не имевший исторической необходимости, советский проект увенчался успехом благодаря совпадению идеологии со склонностями национальной психологии – коммунистические идеологи использовали утопизм национального характера, объясняемый спецификой национально-географического ландшафта¹, намеренно высвободили заложенный в народе деструктивный потенциал: «В чем тонко разбирался Сталин, так это опять-таки в самых низменных качествах людей, он мог эти качества преобразить в святую веру, в энтузиазм, и человек становился палачом во имя этой высокой цели» [2. С. 410].

С. Залыгин стоит на бердяевских позициях, трактуя коммунизм как естественное проявление народного духа, его негативных сторон. Низменные проявления массового сознания и в дальнейшем становятся средством обеспечения такой власти и намеренно культивируются большевиками. Как и в концепции В. Астафьева, идеология порождает в масштабах нации несамодостаточность.

¹ Беспредельность пространств порождает неукорененность (кочевничество), стихийность (неразрывность): «...У нас как бы утеряно чувство меры и чувство границы возможного с невозможным» [2. С. 428].

стоятельное, догматическое сознание, а социально-исторический утопизм проявляется в масштабах нации и государства – интенция создания вселенской империи: «...если представить себе весь земной шар Россией – вот уж страшно! А ведь мы на такое положение претендовали и всерьез – кто намеревался устроить коммунизм во всем мире? Кроме нас, никому в голову не пришло, разве что Карлу Марксу, – так он был одиночкой, а не нацией, не страной и не государством» [2. С. 407].

При этом С. Залыгин прослеживает не только сущность советской идеологии и механизмы ее влияния на массовое сознание, но и генезис идеологии. Исторически идеологию формирует сознание заговорщика – революционера. Заговор, как авантюра, политическая интрига с целью захвата власти, требует особого мышления, для которого характерны «ортодоксальность», отсутствие потребности в самоанализе, схематизированные представления о реальности: «Я довольно много читал Ленина и никогда ни в прямую, ни косвенно не улавливал в нем вопроса к самому себе – кто же он? что за человек? <...> И всегда и везде, во всех без исключения отношениях с людьми и человечеством, ему было все, как есть все, ясно, понятно...» [2. С. 357]. Сознание идеолога отличают утопизм (создание глобальных проектов переустройства мира), авторитаризм (диктат самодовлеющей идеи, «непоколебимость системы мышления и действия»), волюнтаризм (вера в собственное, ничем не ограниченное всеислие), культ абсолютного насилия и фатализм (отсутствие целей и самооценку борьбы) и т.д.¹ В дальнейшем, по мере изменения социально-политической конъюнктуры (задач на каждом из следующих после революции исторических этапов), идеология, по С. Залыгину, вступает в фазу инерции, редуцируется до набора формальных идеологем, атрибутов и ритуалов, но по-прежнему определяет качество мышления [3].

Эти взгляды В. Астафьева и С. Залыгина распространяются на все аспекты советской системы (экономику, политику, социальную систему, официальную культуру и т.д.), определяя в целом негативный тренд ее оценивания – идеология составляет априорное основание всех практик советского, определяет их волюнтаристский подтекст².

В. Астафьев в принципе отказывает советской системе в любых конструктивных значениях, оценивая ее сущность только как деструктивную, на всех уровнях, во всей совокупности практик. Писатель не видит справедливости в социальных отношениях советского времени; система равномерного распределения благ расхолаживает человека, лишает его стимулов к труду и совершенствованию; за кажущимся равноправием скрывается коррупционная система Советского государства. Коммунистическая мораль обнаруживает пустоту – псевдомораль, основанная на подмене³; идеология и официальная

¹ «В том-то и состоит ужас тоталитаризма, что он совершает великие деяния только потому, что их можно совершить, а не потому, что они действительно необходимы» [2. С. 395].

² «Противоречивость, эклектичность сталинского марксизма для внимательных наблюдателей не являлась тайной и при жизни «вождя всех времен», как не являлись тайной существование расхождения между большевистской теорией и практикой. Собственно говоря, практические нужды и определяли теоретическое обоснование деяний сталинского руководства, но никак не наоборот» [4. С. 243].

³ «В непонимании, искажении, затуманивании смысла жизни и человеческого назначения – самая большая уязвимость коммунистической морали» [1. С. 52].

культура разрушают в обществе нравственные начала, подменяют их: «Нам и сейчас все еще некогда. Нам недосуг осмыслить наше время и подсчитать вред, нанесенный народу партийной идеологией и громоподобной, лукавой псевдокультурой. В том, что он, так называемый советский народ, одичал при всеобщей грамотности, сделался бездуховным и злым, — есть большая заслуга и современной культуры, прежде всего литературы периода всеобщего социалистического культизма» [1. С. 48–49].

С одной стороны, развитию нравственности и подлинной культуры препятствует ограниченность авторитарного общественного сознания. С другой стороны, советская система вырабатывает многоуровневый аппарат цензуры, инструмент духовного террора, приводящий к чудовищным последствиям — приспособленчеству и изворотливости, творческому бесплодию и нравственной несостоятельности деятелей культуры¹. Псевдокультура соцреализма служит целям обеспечения идеологии и не имеет ничего общего с подлинными задачами культуры. Напротив, доминирование догматизированного канона и глубоко эшелонированная цензурная система, не пропускающая ничего противоречащего мышлению полуграмотного цензора, приводит к тому, что подлинное искусство уходит в подполье или чудом сохраняется в урезанном виде в произведениях разрешенной литературы.

Инвективы в адрес советской системы и партийной номенклатуры отличаются предельной жесткостью и сниженными оценками². Контрпродуктивность, нежизнеспособность Советского государства подтверждает деградация партийного руководства, исключая любые позитивные начала³. Показателен переходящий в творчестве В. Астафьева образ партийно-советского чиновника, страдающего сифилисом, вскрывающий лживость и нравственную несостоятельность советской политической системы («Министр и поэт», «Подводя итоги» и т.д.)⁴.

Для С. Залыгина Советское государство также лишь воплощение идеологии, попытка реализации утопии, самодовлеющее и нежизнеспособное образование. Уже в экологической публицистике писателя периода перестройки

¹ «Самое страшное, что цензор, плотно заселивший советские ведомства, культуру, вузы, школы, армию и даже тюрьмы, проникал в кровь человеческую, заселялся в плоть и в сердце существа, находящегося еще в эмбриональном состоянии. Литератор, журналист, режиссер, художник, еще не начав творить, уже твердо знал, как надо творить, и таких ли матерых, изворотливых приспособленцев плодила наша дорогая действительность во всех сферах жизнедеятельности, но прежде всего в области литературы и искусства, что уже и талант был вещью необязательной, порой даже и обременительной, вредной» [1. С. 28].

² Партия «...лишь делала видимость работы, но сама по себе ничего не значила и кроме всеобщего вреда людям не приносила — ее природа и назначение — борьба, вечная борьба со всем и со всеми, неизвестно зачем, к чему и за что — самая это бессмысленная и самая опасная для всего человеческого организация» [1. С. 34–35].

³ «Партия, выбивая из своих рядов все умное и честное, закономерно дошла до таких верховных ничтожеств, как был Брежнев, Черненко, Подгорный, — имя им — легион. Так что же говорить о провинции, о глухой? Здесь вывелся и был селекционирован самый чванливый, самый отвратительный тип партийного чиновника» [1. С. 36].

⁴ Очевидны глубокие личные мотивы такого отношения В. Астафьева, выраженные прямо. В автобиографической публицистике писатель неоднократно возвращается к трагическому послевоенному времени, когда от диспепсии в грудном возрасте умирает его дочь и чуть не погибает жена — секретарь чусовского парткома Серебров не помогает с продовольственными карточками: «Вот с тех пор я и заказал себе не докупать более просьбами родной партии и советской власти тоже» [1. С. 36].

можно обнаружить указание на истоки кризиса советского государства [5]. С. Залыгин последовательно и аргументированно указывает на нежизнеспособность социалистической системы, перечисляет симптомы ее болезни (порочность системы государственной монополии и государственного планирования), связывая выздоровление (модернизация, демократизация) с невероятными в контексте официальной идеологии мерами. С. Залыгин фактически вскрывает причины скорого распада СССР – крушение советской авторитарной ментальности.

Иной модус оценивания в публицистике В. Астафьева и С. Залыгина проявляется в отношении советского как «повседневного», переживаемого лично – жизненного мира человека, сферы частного существования. «Повседневность» осознается В. Астафьевым и С. Залыгиным как сфера подлинного человеческого существования, этическое пространство, сохраняющееся между отдельными, простыми людьми, в котором происходит становление личности человека. «Я столько повидал хороших русских людей, подлинных интеллигентов – дай Бог каждому!» [2. С. 366], – оценивает свой жизненный опыт в советскую эпоху С. Залыгин. В воспоминаниях детства описываются демократические традиции родителей, принадлежавших к земскому сословию, особая культура ссыльных в Барнауле 1920-х гг. В воспоминаниях юности – учеба в Омском сельхозинституте, выпавшая на 1930-е гг., студенческое существование в пространстве частной жизни, оппозиция внутреннего (частного) и внешнего (общего) пространства жизни: «Мы жили своим, комнатным, мирком, и нам не очень-то было дела до мира всеобщего. Для нас коридор общежитки, будучи необходимым, был уже чужим. Комната и чертёжка – вот это дело другое, это наше дело» [2. С. 375]. Через своих учителей С. Залыгин приобщается к демократическим традициям дореволюционного времени. Опыт зрелости также связан со знакомством и общением с десятками людей, оказавших влияние на писателя.

В. Астафьев осмысляет то влияние, которое оказали в детстве на становление его личности учителя игарской школы (И.Д. Рождественский, В.И. Соколов) – нравственное воспитание и вспоможение раскрытию заложенных задатков. В публицистике упоминаются десятки людей – учителей, друзей, товарищей, которые помогали В. Астафьеву обрести себя; отмечается роль творческой среды (например, творческих союзов); приобщение к опыту других, поживших и пострадавших людей, открывающему правду о жизни. Сфера частной жизни входит в сюжетный план очерков В. Астафьева, чем подчеркивается ее подлинность по сравнению с официальной сферой, подвергаемой моральному развенчанию.

В этом аспекте В. Астафьев и С. Залыгин понимают советскую эпоху как объективную историческую данность, время, в которое выпало жить, и принимают ее. Здесь важны глубоко личные мотивы, философская рефлексия человека и его места в истории – история влияет на личность, и от этого опыта нельзя отказаться.

Автобиографический план публицистики С. Залыгина и В. Астафьева отличает трезвый самоанализ. В социальной ситуации 1990-х гг. С. Залыгин, переживая кризис, несоответствие своих представлений реальности, характеризует себя как производную советской эпохи: «...вышел из меня типич-

ный... совок. И думал я очень просто: если все будут хорошо работать – все и для всех будет хорошо. Вот и вся логика. И – политика» [2. С. 381], – и пытается последовательно проследить влияние времени на свою личность на каждом этапе ее становления.

В начале осознанного жизненного пути (1930-е гг.) будущий писатель еще не готов к осмыслению реальной жизни: «Видел я своими глазами коллективизацию и раскулачивание, видел так называемый «лесоповал», со стороны видел репрессии 1937-го и других годов <...> но, оказывается, все это прошло мимо меня, не повернуло, не перевернуло моей души, душевного моего состояния» [2. С. 381]. Эпоха определяет способ и содержание мышления: «Хрущевская «оттепель»: она меня не только вполне устраивала, но и те оценки, которые Хрущев дал Сталину и сталинизму, те послабления, которые он ввел в печати, казались мне чем-то очень значительным. Чего стоил один только тогдашний «Новый мир»! Я полагал его за максимум и был его постоянным автором» [2. С. 381]. В очерке «Моя демократия», вспоминая великие стройки второй половины 1950-х – 1960-х гг. (строительство канала Волга – Дон, Цимлянской, Волжской, Новосибирской, Усть-Каменогорской, Красноярской ГЭС), которые посещал в качестве собкора «Известий», С. Залыгин осознает совпадение своего мышления в тот период с пассионарностью послевоенного поколения. Ограниченность сознания этого поколения определяет утопизм эпохи, романтический порыв застигает реальность: «Величие великих строек проникало в наш быт, особенно в быт и мышление людей, которые находились здесь временно – месяц-другой, не больше, когда каждый день кажется днем особенным, исключительным» [2. С. 382].

Однако постепенно, по мере открытия реальности, приобретения опыта происходит преодоление ограниченного взгляда на жизнь: «В зоне мне (и не только мне) все казались одинаковы: прораб-заключенный ругался с инженером-вольняшкой, заключенные участвовали в соцсоревновании и выпускали свои стенгазеты. Возможно, все это было показушное – тюрьма есть тюрьма, – но понимание этого пришло ко мне позже, значительно позже, уже после того, как я побывал в бараках железнодорожной стройки № 501, после того, как прочел Солженицына» [2. С. 382].

Советская эпоха для В. Астафьева также связана с процессом взросления, который медленно проходит писатель, освобождаясь от привитых стереотипов и образа мыслей, обретая навыки рефлексии и преодолевая ограниченность авторитарного сознания¹. Взросление происходит в ходе сложного взаимодействия личности и времени и заключается в обнаружении и защите собственного «Я». Существование в неестественных социальных, политических и культурных условиях приводит к нарушению естественного порядка становления творческой личности: «В тридцати-сорокалетнем возрасте я одолевал грамоту, приближался к тому самопознанию, которое литературные деды мои, прадеды, волей судьбы соратники по ремеслу: Пушкин, Достоев-

¹ «...Думать то, что тебе внушили, навязали, вдолбили»; «...С детства, как и многие из нас, советских литераторов, среди которых истинных писателей очень и очень мало, я, как и многие из сограждан, не научен был не только заниматься самоанализом, осмысливанием бытия человеческого, но и ни над чем думать не умел, прежде всего над жизнью и поступками своими, а не только общечеловеческими» [1. С. 48].

ский, Лермонтов, Толстой, Бунин, Тургенев – «прошли» еще в раннем детстве» [1. С. 48]. Этот процесс сопровождается мучительной борьбой, работой над собой, возвышением над обстоятельствами социального принуждения, авторитарным диктатом. Условие для познания жизни и самопознания составляет отрицание лжи, потребность в выражении правды.

При этом в публицистике В. Астафьева и С. Залыгина индивидуальное самосознание в рефлексии советского расширяется до коллективного. Советское время трактуется как время проявления свободного начала в отдельных представителях народа, сохраняющих самосознание и находящих в себе силы для духовно-нравственного сопротивления, это творческая и научная интеллигенция, люди, приобщенные к культурному наследию, политические заключенные и т.д.

В. Астафьев вспоминает людей, погибших в лагерях, но одержавших моральную победу над карательной системой, сохранивших духовную свободу. В концепции С. Залыгина условия тоталитарного общества способствуют поддержанию в сфере неофициального человеческого существования свободного, личностного сознания – «демократизма» как образа мышления и типа повседневного поведения, в основе которого лежит признание Другой, отдельной личности. Демократизм сознания, составляющий альтернативу всепроникающей идеологии, обеспечивает высокую нравственность, культуру взаимоотношений между людьми – свободу совести, терпимость, отзывчивость и бескорыстие, приоритет общечеловеческих ценностей и т.д.

Таким образом, в обращении С. Залыгина и В. Астафьева к советскому затрагиваются альтернативные пласты его реальности, противопоставленные официальным сферам.

Можно говорить от том, что публицистика В. Астафьева и С. Залыгина по-своему фиксирует механизм «детерриториализации», «ухода от системы» (А. Yurchak) [6]. «Авторитарный дискурс» (authoritative discourse), представляя собой строгую догму (тотальная политизированность и идеологизированность советского общества, косность общественных структур и институциональных образований), теряет свою «конструктивную сущность» (constructive meaning), утрачивает соответствие социальной реальности – сводится к дискурсивному симулякру, превращая советскую жизнь в пространство постмодерна¹. В отсутствие конкурирующего описания реальности индивиды формируют собственные альтернативные дискурсы в сферах неофициальной, «неавторитарной» жизни (частная жизнь, литература и искусство) – «уходят» от «авторитарного» дискурса, а конструктивные значения «детерриториализуются».

С. Залыгин и В. Астафьев в равной мере осознают закономерность распада СССР, вскрывают нежизнеспособность, порочность советской системы². Критическое отношение к советской системе и идеологии (разочарование) формируется при разных обстоятельствах еще в советскую эпоху и фиксиру-

¹ Время, отличающееся нестабильностью, вариативностью и множественностью дискурсивных практик [7].

² «Официальная политика» выстраивалась по законам тоталитарных и авторитарных обществ, объективно пытавшихся отстранить число акторов политики и «вытолкнуть» значительную часть населения из сферы политического» [8. С. 128].

ется в экологической публицистике [3, 9]. Именно здесь отражены «размывание» единого советского политического мифа на закате СССР, рационализация общественного сознания, конструирование новых (культурных) мифов (формирование при помощи публицистики и художественной литературы альтернативной идеологии, системы ценностей и приоритетов). В связи с этим крушение советской системы происходит в разной степени болезненно; болезненно переживаются только новые реалии, пришедшие с распадом Советского государства.

В. Астафьев и С. Залыгин оценивают советскую идеологию и политическую систему с точки зрения дихотомии «тоталитаризм – демократия», определяя отношение к советскому в духе «негативной» идентичности – историческая аномалия, провал. Оба писателя сходятся в оценках генезиса тоталитаризма как негативного проявления народа, прослеживая его в психологических особенностях массового сознания (низовая природа человека), актуализированных в ходе социальных катаклизмов, путем преднамеренного воздействия коммунистических идеологов. Поэтому В. Астафьев оценивает распад советской системы однозначно положительно, С. Залыгин – в целом позитивно, считая его закономерным итогом нежизнеспособной системы, не выдержавшей роста гражданской активности общества.

При этом и С. Залыгин и В. Астафьев постоянно возвращаются к прошлому в автобиографическом плане, актуализируя в памяти свое личное бытие в советскую эпоху, существование человека в неофициальных рамках, в которых поддерживалась человечность. Воплощенные в повседневной среде социокультурные нормы, ценности и практики составляли механизм поддержания подлинных, человеческих начал в условиях авторитарного государства – «сопротивление, увиливание, уклонение, отступление от предписанной власти» [7. С. 157].

Новое время для В. Астафьева и С. Залыгина знаменует кризис, дезориентацию, утрату обществом ценностных ориентиров. Однако в социально-исторических трансформациях постсоветского периода писатели не видят транзитивных процессов от советского к российскому.

В. Астафьев, переживая реальность постсоветской России трагически, не видит антагонизма между советским и постсоветским временем. Переход России от одной формации к другой (от социалистической к капиталистической) не осознается В. Астафьевым как революционный в аспекте ментальности и политической культуры общества. Писатель не видит коренных изменений в общественной жизни, воплощающей в новых формах тенденции, заложенные в тоталитарную эпоху. Наблюдая в переходных социально-исторических условиях трагические противоречия в общественном сознании, связанные с тоталитарным наследием, он развернуто характеризует «идиотизм», «маразм нашего бытия», трактуя их как прямое следствие глобального исторического эксперимента, предпринятого над народом тоталитарным коммунистическим режимом. Насилие над сознанием приводит к духовной слепоте; подмена нравственных принципов – к их девальвации; истребление носителей интеллекта и культуры и насаждение безверия лишает народ духовной основы. В итоге общество вступает в новую эпоху с незрелым граж-

данским сознанием и низким уровнем нравственности, сохраняя устойчивые рецидивы тоталитаризма.

Такие же оценки выражает С. Залыгин. Он, оценивая социальную и политическую ситуацию 1990-х гг. как время смуты, не находит в стране воплощения подлинной демократии, констатируя незрелость общественной и политической культуры («колченогая демократия»). Безнравственное содержание современной общественно-политической жизни, с точки зрения С. Залыгина, восходит к практике коммунистических функционеров (стиль и организация политического руководства, политической борьбы).

Таким образом, в отличие от В. Распутина и других традиционалистов, переживающих в 1990-е гг. тяжелый мировоззренческий кризис¹, советское в публицистике В. Астафьева и С. Залыгина так и не становится идентификационной моделью, фрагменты советской действительности не играют роли идеологических и культурных указателей в идентификационных процессах в связи с растерянностью, дезориентацией постсоветского общества. С. Залыгин и В. Астафьев, воплощая личностный тип самосознания, сохраняют внутреннюю цельность, оказываются приспособленными к динамике социальных условий постсоветской России. Поддерживая непрерывность внутреннего существования, ощущение самотождественности, внутренней цельности, они испытывают ностальгию по советскому не как по системе, а как по эпохе, в ее экзистенциальном измерении.

Литература

1. Астафьев В. Подводя итоги // Астафьев В.П. Собр. соч.: В 15 т. Т. 1: Рассказы. Тают снега: Роман. Красноярск, 1997. С. 5–64.
2. Залыгин С.П. Моя демократия: Заметки по ходу жизни // Залыгин С.П. Свобода выбора. М., 1998. С. 355–429.
3. Каминский П.П. Человек, природа, общество в публицистике С. Залыгина второй половины 1980-х гг. // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2009. № 1 (5). С. 91–103.
4. Фирсов С.Л. Адольф Мюнхенский и Иосиф Великий – политические «святые» религиозных маргиналов // Вестн. рус. христианской гуманит. акад. 2009. Т. 10, № 2. С. 234–262.
5. Залыгин С.П. Поворот. М., 1987.
6. Шайдук О.А. Пересматривая тоталитарное прошлое: новый теоретический подход к советской реальности [Рец.: Yurchak A. Everything was forever, until it was no more: The last Soviet generation. Princeton: Princeton university press, 2006] // Журнал социологии и социальной антропологии. 2007. Т. 10, № 1. С. 213–217.
7. Смолина Н.С. Тема «советского» в социально-философском дискурсе 2000-х: Проблема-тизация коллективной идентичности постсоветского человека // Изв. Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена. 2009. № 97. С. 154–161.
8. Нарсия Г.М. Преодоление советского прошлого: проблемы и противоречия // Вестн. Рос. гос. гуманит. ун-та. 2009. № 1. С. 127–132.
9. Каминский П.П. Человек, природа, общество в публицистике В. Астафьева и В. Распутина // Вестн. Том. гос. ун-та. Филология. 2010. № 2 (10). С. 89–99.
10. Зинченко А.В. Ностальгия: диалог знания и памяти // Культурно-историческая психология. 2009. № 2. С. 77–85.

¹ «Прошлое удивительным образом инкапсулируется, становится сверхценным и в каком-то смысле противостоит вторжению настоящего, пытаясь сохранить исчезающий образ себя» [10. С. 77].